

НЕ ХОДИ ЗА МНОЙ СМЕРТЬ

Скориков А.И.

Н. И. Скориков

Не ходи за мной смерть

«Издательство «Перо»

2020

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Скориков Н. И.

Не ходи за мной смерть / Н. И. Скориков — «Издательство
«Перо», 2020

ISBN 978-5-00171-140-7

«В небольшом магазине, где продукты и промтовары не делились по отделам, увидел я его. Мне так хотелось, чтоб он узнал меня и традиционно спросил, словно француз – чуть в нос: – Как ты, Ваня? Не забываешь? Молодец! Но его внимание полностью было сосредоточено на высоком штабеле из железных ящичков, бутылок. Не взял, а выхватил из рук продавца бутылку и поспешно вышел из магазина. Тут, вдали от очереди, ко мне подошла сторбленная и морщинистая, словно ящерица, старушка...»

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-00171-140-7

© Скориков Н. И., 2020
© «Издательство «Перо», 2020

Н. И. Скориков

Не ходи за мной смерть

© Скориков Н.И., 2020

* * *

В небольшом магазине, где продукты и промтовары не делились по отделам, увидел я его. Мне так хотелось, чтоб он узнал меня и традиционно спросил, словно француз – чуть в нос:

– Как ты, Ваня? Не забываешь? Молодец!

Но его внимание полностью было сосредоточено на высоком штабеле из железных ящиков, бутылок. Не взял, а выхватил из рук продавца бутылку и поспешно вышел из магазина. Тут, вдали от очереди, ко мне подошла сгорбленная и морщинистая, словно ящерица, старушка.

– Ты Маруси Садовой сын? Петя или Ваня?..

– Ваня я.

Ответил и, как ни вглядывался в почерневшее лицо, не мог узнать ее.

– Да, ты Ваня. – Сказала, будто штамп в паспорт поставила. – Я хорошо помню твоего отца, такой же по комплекции был нехилый, но только душа у него искрилась, как хорошее вино. Бывало, придет в бригаду виноградарей и поднимет переполох. Визг, смех, хохот! А уйдет – не одна, тяжело вздохнув, глянет ему в след. Хорош был мужик, – шурясь, говорила старуха, и где-то глубоко, в морщинистых глазницах угольками тлели глаза. – Деньги Михаилу не давай, если попросит взаймы. – Перешла на шепот. – Пьет он, сильно, сильно пьет.

– А что случилось с ним? Такой мужик, он же Герой соцтруда? – спросил ее, тоже переходя на шепот, потому что присутствующие тут покупатели и продавец стали обращать на нас внимание.

– Был героем, был слугой народа, был... – Живые искорки исчезли в глазах моей собеседницы, и на лицо ее упала тень грусти, переходящей в боль.

– Как же я не дам? Если вы здешняя, то поймете меня...

– Пойму, пойму, а как же! – оборвала она меня на полуслове, и в глубоких ее глазах вспыхнул гнев. Сквозь шепот все чаще прорывался хриплый голос. – А как же, кумир всей пацанвы. Сколько он побегал по инстанциям, устраивая вас в заведения? Это было? А теперь он сам беспомощный, как ребенок. На краю гибели стоит. – Заметив, что вся очередь повернула головы в нашу сторону, старушка замолчала, а я вышел из магазина, забыв, зачем пришел. Оставив машину на обочине дороги, пошел к речке. Издалека, продираясь сквозь дебри высоких заросших зеленую гор, она бежала к морю, всхлиывая и журча слезами о прошлом.

Конец августа 1942 года. Из небольшого горного села, отрезанного от путей сообщения лесистыми горами, война забрала последних мужчин. Остался лишь один дед Гуков, его и просили уходящие на фронт присмотреть за семьями. Гуков хотя и был древним стариком, но кавалеристская выправка чувствовалась в его неторопливых расчетливых движениях. Когда простучали колеса последней подводы на ухабистой дороге, собрал свои пожитки и ушел в лесничество, успокоив оставшихся: «Женщин и детей не тронут, а кому невмоготу будет, приходите в лесничество, но только по делу.

– Может, останешься? – просили женщины. – Ведь бабка твоя померла. Как ты один там жить будешь?

– Поучите меня, курицы, скоро сами все поймете, – отвечал Гуков.

Далеко в горах эхом доносилась канонада: где-то совсем недалеко шло сражение, и все чаще в небе, ограниченном горами, как в огромном планетарии, разгорались воздушные бои.

Немецких самолетов всегда было больше, и потому чаще падали наши, фанерные, но спасти ни одного летчика не удалось. Мессеры превращали все, что упало на землю, в решето. Потом канонада стала удаляться, появились толпы окруженцев. Многих несли на носилках. Весь день сколачивали плоты, а вечером подошел катер, взял плоты на буксир и потащил в море... Наступила тягостная ночь.

В Черногорье настала, по меркам военного времени, самая отрадная пора – время созревания ранних сортов винограда, – во многих дворах топились летние печи, и легкий ветерок по всему селу разносил аромат виноградного варенья. Но никого это не радовало, все внимание было сосредоточено на дороге, над которой повисла яркая луна. И все же ночь сделала свое дело, многие завалились спать и смотрели прекрасные сны; эти сны были последним атрибутом мирной жизни.

А дальше начался АД.

Уже взошло солнце, когда на взмыленном коне примчалась бригадир полеводов Наталья Остафьева и заорала: «Едут! Целая армия румын едет! Всем молодым и пригожим женщинам вымазать рожи сажей, хвататься за животы, мол, дизентерия, – и не высываться! Все!» – и ускакала к морю. Затарахтели, поднимая пыль на дороге, крутые румынские каруцы. Потом закудахтали куры в курятниках, и до боли в ушах визжали под румынскими ножами поросята. Подталкивая дулами в спину, вели женщин к господам офицерам. Женщины с чумазыми, перепуганными лицами еще надеялись на что-то и судорожно хватались за животы, но солдаты в ответ только смеялись, толкая их дулами в спину. Неведомо откуда в селе, на другой день после того, как въехали румыны, появился печник Матвеев, мужик вредный и завистливый. О нем говорили, что самая ядовитая гадюка по сравнению с ним – благо. Много доносов поступало в НКВД от Матвеева. Ни в одной семье по настоящее время не знают, куда увезли мужа, отца, брата... Уходил Матвеев, как и все, на фронт, но вдруг вернулся, и уже с румынами.

Первый визит он нанес Петляковым.

– Вот они! Коммунистки и старая, и молодая, – ткнул он указательным пальцем и цвиркнул слюной сквозь мелкие, как у мыши, зубы, на вымытый до блеска пол. – Что, суки партийные, не ждали? – вновь заорал Матвеев. – Вы теперь у меня кровушкой поплачете. Вот он я, Матвейка, смерть ваша.

Самым меньшим в семье Петляковых был Михаил. Отец и два старших брата ушли на фронт, кроме бабки и матери, еще остался совсем дряхлый дед и три сестры. Младшей из сестер, Александре, весной исполнилось семнадцать, расцвела она как-то вдруг и некстати... Когда полицаи уводили женщин на расстрел, мать и бабка в один голос предупредили: «Дети, ничего не бойтесь, не теряйтесь – с вами люди. И берегите Сашу! Ей будет труднее всех!» Полицаи, чтобы выслужиться, решили позабавить немецких карателей... Мать и бабушку Михаила увели в виноградник, туда же прикатили огромное колесо с шестернями и цепями, сняв с карусели. Женщин привязали к железным спицам колеса, поднятого толпой полицаев, установили на торец. Каждая из женщин, по задумке палачей, должна была толкать спиной колесо на другую, чтобы в конце концов колесо упало и раздавило своей тяжестью одну из них. Но «хохмы» не получилось. Крепкие крестьянские плечи держали колесо ровно. Немцам вместо веселья стало грустно. Уж очень подвиг этих женщин напоминал о несгибаемой воле народа, с которым пришлось воевать. Простояв в ожидании около часа, немцы уехали, приказав румынам никого не подпускать. Полицаи, как шавки, извиняясь перед немцами, укатили следом. Всю ночь солдаты охраняли привязанных. Стреляли на каждый шорох в кустах, к счастью, ни одна пуля не задела Михаила, но к колесу он не смог добраться. А утром мать и бабка Петляковых были обе мертвы, одна под колесом, другая на нем. Долго по ночам у колеса жутко выли шакалы, но солдаты не разрешали похоронить женщин по-человечески. С немцами шутки плохи. А на следующую ночь при попытке забрать трупы пристрелили деда Петляковых, он теперь тоже

тлел у колеса вместе с женой и дочерью. И только свежий морской ветер доносил чуть уловимый смрад разлагающихся тел.

Быстро румыны освоились в селе. Регулярного снабжения продуктами и прочим их батальон не имел, поэтому они очень быстро обворовали население, тянули все, что попадет под руку. Первым пришлось ощутить голод оставшимся в живых Петляковым. Видя, что люди ограблены солдатами, комендант по имени Методий разрешил иногда кому-либо ходить в ближайшие хутора, чтобы обменять уцелевшие вещи на продукты. Многие благополучно вернулись, принеся оклунки с картошкой да с мукой, а две сестры Петляковы пропали. Ходили слухи, что Матвеев их подстерег и сдал немцам в публичный дом.

Михаил хорошо помнил наказ матери беречь Александру. Он метался по селу, жалуясь людям, что если румыны не погубят сестренку, так умрет она с голоду. Помогали, кто чем мог, и посоветовали обратиться к Елизарихе: ее, мол, ни немцы, ни румыны не трогают – отец был «беляком», может, спрячет Сашу, не к добру девушка расцвела, а сам смотаешься, может, чего выменяешь. Долго Михаил стоял в нерешительности возле единственного рыбацкого домика у самого моря. До войны в нем четыре семьи жили, а теперь разрешили только Елизарихе.

– Мама, Миша пришел! – позвала Елизариху тринадцатилетняя Катя, единственная дочь.

– Елизавета Викторовна, спасите Сашу от румын! Они с каждым днем все наглее становятся, ломятся в двери, угрожают. Пропадет сестренка! – Голод отчетливо обозначил худые скулы мальчишки, бледное лицо подчеркивало тревогу. А огромные, умоляющие глаза смотрели с такой мольбой, что сердце Елизарихи сжалось:

– Запрись, Катенька, на засов и никого не пускай, – наказывала она черноглазой и тоненькой, как стебелек, дочери. – Пойдем, Миша.

По узкой тропинке, вдоль реки, не шли, а бежали они в село.

– Ой, не беги так быстро, Миша, ноги мои подкашиваются! – просила Елизариха.

– Быстрее надо, тетя Маруся, быстрее! – просил Михаил.

– Чует беду. Ой, горе, горе! – повторяла она и прибавляла ходу. У дверей квартиры, где оставил Михаил Сашу, стоял часовой. Штыком остановив запыхавшихся Елизариху и мальчишку, он с кривой улыбкой пояснил:

– Туда невозможно, там комендант с молодой куркой.

В оскале кривых зубов румына Михаилу виделась жуткая гримаса черта. В этот момент за дверями послышались возня и пронзительный вскрик. Михаил рванулся к двери, но в грудь ему уперся штык.

– Все, – смеялся румын, – молодая курка готова!

– Пойдем, Миша, пойдем, поздно, не успели...

Подшли соседи и помогли отвести его к Елизарихе. Он пытался вырваться, угрожал румынам, но платком ему закрыли рот. Перестали солдаты водить под дулами винтовок все новых и новых женщин коменданту, ему понравилась Александра. Взял он ее в свой особняк и никуда не выпускал, а Михаил остался один. Когда у односельчан уже нечем было поделиться, посоветовали Михаилу добраться до хуторов, выменять что-нибудь из продуктов на оставшиеся вещи. На редкость теплым и солнечным стоял октябрь. Еще не падала в горах листва. То справа, то слева от тропинки виднелись кизилевые рощи с побуревшей листвой. Кизил перерзрел и усыпал землю крупными сладкими ягодами. Он то и дело сворачивал на полянку, собирая рубиновые россыпи, а тропинка шла вверх, вниз, вверх, вниз – вот и айвовая роща. В лесу от зрелой айвы, кислиц и груш стоял такой запах, что кружило голову.

Не было войны, не было бы горя, и все это несметное богатство леса собрали бы люди... Но не пускали румыны народ, пугая партизанами, а где они, партизаны? Михаил чутко прислушивался к лесной тишине, то карабкаясь по тропе вверх, то стремительно сбегая с горы вниз.

– Стой, хлопец! – как выстрел, прозвучал хрипловатый голос за спиной. Михаил мгновенно повернул голову и заметил, как в него целится из винтовки заросший, в румынской

шинели человек. – Что несешь? – спросил, надвигаясь. Ничего хорошего не обещали лихо-радочно светящиеся глаза. Мурашки под кожей побежали, но Михаил держался смело и спокойно. Сняв мешок с плеч, он развязал его, и золотом в солнечных лучах вспыхнул медный самовар.

– Это все? – спросил лохматый, дыхнув зловонным перегаром. Он суматошно, будто кто гнал за ним, рылся в мешке и, ничего более не найдя, пнул его ногой так, что мешок с самоваром, грохоча, покатился в глубокое ущелье. – Жрать есть что? – словно лаял, а не спрашивал, уставясь в грудь Михаилу, туда, где за пазухой лежала полурыбная, полукартофельная лепешка: Елизариха дала на дорогу. Мужик ел, как животное, забыв, что у него есть руки, прямо с белой тряпки хватал ртом, как собака, давился, судорожно дергая острым кадыком, и хватал снова, что-то омерзительное было в нем и страшное. – Отвернись, не то сдохнешь там! – показал кивком головы в ущелье. И пригрозил Михаилу, заметив, как тот брезгливо, с осуждением смотрел на него. – Менять идешь? – уточнил, когда проглотил лепешку.

– Менять, а ты что делаешь? Дезертир? – неожиданно для самого себя спросил Михаил и съезжился от ожидаемой расправы, когда лохматый снова схватил винтовку. Раздался выстрел. У самого уха взвизгнула пуля, опалив кожу на щеке.

– Не твякай, щенок, пока цел! Догоняй свой самовар, и чтоб выменял мне сала и хлеба, не то гнить тебе в ущелье.

Сказал и исчез, как сквозь землю провалился. И тут накатил на Михаила истерический хохот. Уже в горле и в груди болело, а он все не мог остановить этот дурацкий смех. Все ниже и ниже спускался он в ущелье. Подобрал мешок, хохоча подходил к самовару, который остановился у небольшого завала веток и сушняка. Еще мгновение, и парень подавился смрадом. Под завалом гудел миллионный рой мух, и чего там только не было. Резанул Михаилу по глазам Асин платок, старшей сестры. Хохот прекратился, встали волосы дыбом, от тошноты начала кружиться голова, сделалось дурно. Отошел чуть в сторону, началась рвота. Его шатало из стороны в сторону. Ветку за веткой разбирали завал. В голове гудело, и на ладонях появился противный, липкий пот. Сестры лежали рядом на спине. На Михаила стеклянно глядели их открытые глаза.

Рты у обеих были забиты кляпами, свернутыми из нижнего белья. Одежды на них не оказалось, а тела раздулись до неузнаваемости. В изголовье лежали оклунки с отрубями, мыши проточили мешки. Было такое впечатление, что они легли спать и не проснулись. Будто окаменел Михаил, так и стоял. Может, надо было закричать или громко заплакать, чтобы стряхнуть увиденный ужас, а он так и замер, впившись глазами в огромные, раздутые груди сестер, в то место, где у левой груди у каждой чернела круглая рана. В нее влазила и вылазила всякая тварь, а чуть выше на откосе валялись клочки одежды. Конвульсии, рыдания сдавили горло и грудь, он кричал, а звука не было, словно онемел. Попытался что-то произнести, но голоса не услышал. Рой мух взлетел – и растревоженного гудения нет... На самом деле Михаил ревел как медведь на весь лес, но не мог услышать, потому что он оглох. Когда смутно стало доходить, что потерял слух, ужас и скованность покинули его, и появилось безразличие. Вытащил из-под веток самовар. Опустил его и, взвалив на спину, не оглядываясь, стал подниматься в гору. Как он попал в лесничество, а не на хутор, не мог объяснить.

Дед не скоро вытянул скупые слова о случившемся.

– Убили Асю и Веру. Наши убили, – повторял Михаил одно и то же. Когда Гуков догадался, что мальчишка оглох, снял с плеч мешок с самоваром и поставил на землю, потом долго вертел его голову, заглядывая в глаза, повторяя:

– Да, брат... Могло быть и хуже. – Неожиданно дед ладонью сжал Михаилу горло. У того глаза полезли из орбит, он словно взвился вверх, и широко, насколько можно, открыл рот. В ушах что-то треснуло, и, грому подобно, в него ворвались звуки. Была тихая, безветренная

погода, а слышалось Мише, что лес шумит, как в бурю. – С одним горем, кажется, справились, как быть со вторым? Расскажи подробнее...

– Там, в ущелье, у айвовой рощи, Ася с Верой! Кто-то надругался и убил их. Убил зверски, понимаешь, дед? Зверски, ножом в сердце, в сердце...

– Успокойся, Миша, успокойся, а то снова оглохнешь. Что ж поделаешь – война.

– Не румыны это, дед! Не румыны. Свои убили. Он и мне грозил, мол, гнить будешь в ущелье, если хлеба и сала не выменяешь. – Дед Гуков не смог выдержать взгляда Михаила, столько было в нем боли и кричащей мольбы. Старому ли военному служаке смотреть беспомощно в кричащие от боли детские глаза? И он отвернулся. – Что же ты молчишь, дед? У тебя же ружье есть! Боишься, да? Тогда дай его мне! – Молчал Гуков. В его уже не седой, а белой голове роем копошились мысли:

– Не один он там, много их. Это полицаи под партизан рядятся. Голыми руками их, сынок, не возьмешь. Они и ко мне было полезли, но есть у меня от них защита. – Дед показал на медаль, специально вывешенную на стене, и рядом в свежей рамочке – грамота на немецком языке. – Так ты говоришь, лохматый, грязный и голодный? Это хорошо, что голодный. Значит, хлеба и сала? – уже сам с собою говорил старик, направляясь к избушке. Не пошел за ним Михаил – дед не приглашал, – но слышал, как тот возился, звенел стеклянной посудой, из полуоткрытого окна, будто из сказочной избушки, доносилось побряхтывание старика. До ноздрей мальчика доносился приятный запах, вызывающий до боли в желудке голод и неумную слюну.

– Михаил, – донеслось из оконца. – Заходи, подкрепишься, и будем кумекать.

На столе, застеленном старой облупившейся клеенкой с поблекшим рисунком «Ворошиловского стрелка», лежали круглая булка хлеба и две четвертины сала, это от него исходил вызывающий невыносимый голод запах. Ели молча. Михаил налегал на «толкуны», а старик, перестав жевать, сквозь косматые, обвислые брови на огромном лбу смотрел в осунувшееся от голода лицо, на худую и длинную, словно у цапли, шею подростка, нервные руки, высунувшиеся из рукавов никем не латанной рубашки. «Нашел, в Макотре – ущелье, где редко ступала нога человека, а нашел... Сердце чует, одна кровь, – размышлял старик и, заметив, что Михаил перестал есть, потребовал: – Ешь, Мишаня, работа предстоит нелегкая...»

Оставив Михаила, Гуков ушел, попросив никуда из сторожки не выходить и вскоре вернулся не один. С ним были еще пятеро с немецкими автоматами, как догадался Михаил, партизаны.

– А не потеряем мы мальчонку? – спросил у Гукова коренастый, с густой черной бородой и лысой, как бильярдный шар, головой, наверно, командир.

– Мальчишку на тропе будут с хлебом и салом ждать, и, как видно из рассказа мальчика, тот, что его остановил, был очень голоден. Вот я и подумал, что не мешало бы их немного подкормить...

– А не подохнут они сразу с твоей, дед, кормежки?

– Нет, их свалит сон, – ответил Гуков и посмотрел на Михаила, в который раз задавая себе один вопрос: а что будет, если не удастся уберечь мальчонку?

– Рок, тяжелый рок выпал всей семье Петляковых, а с роком шутки плохи. Если я не ошибаюсь, это меньший сын Игната Савельевича?

– Да, вы не ошибаетесь, это младший. – подтвердил старик.

– Теперь в двух словах об этом «натюрморте», – командир указал на медаль в форме креста. Верхушки креста заканчивались трехлистниками, крест был прикреплен к синей колодке с двумя красными полосками по краям.

– Было это в первую мировую. Я, Гуков Иван Софронович, хорунжий 1-го казачьего Черноморского полка, Кавказской казачьей дивизии, 2-го Гвардейского Кавказского кавалерийского корпуса, 10-й армии. Середина июля 1917-го, Западный фронт, Белоруссия, район

населенного пункта Младечно. Новоспасские леса болотисты, туда и упал немецкий аэроплан, делающий рекогносцировку, сбитый моими хлопцами. Идти за «языком» вызвались четверо, но когда напоролись на болота, я троих прогнал, дальше пошел сам. Мы неделю назад потеряли в наступлении половину личного состава полка, так что рисковать решил один, я ведь родился и вырос в лесу. К концу дня нашел пропажу, немцы поперекалечены, но живы. Летчик и оберст-лейтенант – по-нашему подполковник. Тащил я их обоих на волокушах почти два дня. А когда вышел к своим, приняли меня уже немцы. Трое суток возили в арестантской халабуде туда-сюда. На четвертые приехал ихний генерал, похлопал по плечу и вручил эту медальку и грамоту. Меня отвезли к речке, дали провианту, ящик водки и показали, куда грести.

– Все понятно, теперь к делу, – сказал, словно удовлетворившись ответом, лысый, которого называли Кузьмой Григорьевичем.

– Да, – продолжил Гуков. – Полицаи с этой медалькой возили меня в Абрау к немцам, так я там разговаривал по телефону со спасенным мною оберст-лейтенантом, и, как я понял, медальку эту вручал мне его фатер – папа по-нашему.

– Все, вопрос закрыт, хотя за спирт немцам спасибо, – закончил тему командир.

– Кроме меня, никто не должен туда идти! – заявил Михаил, с нечеловеческим терпением выслушав рассказ Гукова. – Только мне он поверит и в «сало», и в «хлеб», и еще, еще я хотел сказать, что мои сестры там лежат! – Мальчишку трясло, как в лихорадке, нервы спазмом сжимали горло, а из глаз непрошено катились слезы.

– Нужно успокоиться, Миша, и заботь на время о сестренках. Тот или те, кто ждет хлеба, не должны знать, что там твои сестры, понял? – Кузьма Григорьевич обеими руками прижал к себе вихрастую, давно не стриженную голову мальчишки. Щекой Михаил коснулся прохладного металла автомата, который давал уверенность, и в душу проникло спокойствие. Ему стало казаться, что где-то здесь незримо находится отец, что все пережитое было кошмарным сном, что все живы, и мама сейчас немисливо родным голосом пригласит за стол.

– Вот и успокоился, а теперь, Миша, слушай внимательно...

К концу клонился день. Не треснет ветка, не вскрикнет птица, будто не дождавшись ночи, уснули горы. Но еще живым ртутным шариком под ногами Михаила катались лесные мокрицы, и легкое дуновение ветерка донесло аромат айвовой рощи, напоминающий близкую опасность. Обостренным слухом Михаил слышал стук собственного сердца. Ему казалось, что оно стучит на весь лес. Ноги стали ступать неслышно, и слух переместился как будто на спину.

– Стой, хлопец! – донеслось сзади. Слово паука, прыгнул с дерева на Михаила страх, и так же неожиданно, как и в прошлый раз, словно из-под земли вырос тот, лохматый. Потом еще, и еще, и вот уже их десятка два. Все они разномастные и по одежде, и по упитанности, и по тому, кто как себя вел.

– Ну что, Сквалыга? И правда придурочный пацан, сам пришел. Сивый и ты, Сквалыга, останетесь и проверите, нет ли чего на хвосте. Остальным в нору, вряд ли кого сегодня принесет. Толпа вооруженных бандитов бросилась врассыпную, нехоженными тропами к горе Карачун. Михаила вел поджарый, извивающийся как выюн бандит. На нем румынская форма, за поясом две гранаты и наган. Длинными, будто у гориллы, руками он обвинил Михаила, как спрут. Слово змеи, ползали руки бандита по всему телу, как бы прощупывали и, все чаще вздрагивая, останавливались на ягодицах Михаила. – Иди, сюсек, иди, не бойсь. Я тебя никому не уступлю, – противно гундосил он, наклоняясь к Михаилу, обдавая вонючим перегаром. «А вдруг они не успеют?» – мелькнула страшная мысль в голове Петлякова-младшего, и мурашки поползли под кожей. Норой оказалась неглубокая, но объемистая землянка, устланная мхом. Посередине – яма, в которой разводили огонь. У самой ямы стоял стол, сплетенный из веток кизила. Справа и слева нары, в углу, за ширмой из одеяла, раздавалось попискивание: работала рация.

– Ты сам, – подтолкнул Михаила к столу бандит, давая понять, чтобы тот выложил все, что имелось в торбе.

– Хорош петушок, я вижу, Сыч, тебе не терпится – с кривой улыбкой спросил главарь у сопровождавшего Михаила бандита, на что тот выскалил зубы. – Жить хочешь? – теперь он обращался к Михаилу.

– Да, – ответил Михаил, не узнавая своего голоса, похожего на стон умирающего. Выпученные, бесцветные глаза убийцы-рецидивиста по-жабьи холодно смотрели на мальчишку. Столько в них было безразличия, будто не о жизни он спрашивал, а о каком-то пустяке. – Партизан встречал? – неожиданно спросил главарь.

– Нет, – мгновенно прозвучал ответ.

– Вот твой хозяин, – указал главарь на Сыча, – он тебе жизнь продлит, пидорком поживешь. – Ноги стали ватными, когда Сыч вел Михаила туда, где лежали сестренки. – Ну вот тут мы и пошамаем маленько, и ты, сюсек, утетишь Гришу. Меня Гришей кличут, а тебя? – спросил он, присаживаясь на ровную как стол полянку, усеянную желтыми, последними в этом году, цветами, и усадил рядом с собой Михаила. Сыч рвал зубами сдобренное особыми приправами гуковское сало, при этом он так его сжимал своей ручищей, что сало сочилось по ладони и руке в рукав кителя.

Проглотив выделенную порцию, он начал судорожно расстегивать галифе одной рукой, а другой мертвой хваткой держал за руку Михаила. Когда до сознания дошло, что Сыч затевает, Михаил стал кричать и вырываться. Галифе слетели, запутав ноги Сычу, и он уже двумя руками схватил Михаила, как вдруг раздался голос:

– Що це ты, Сыч, робышь?

Прямо перед глазами вырывающегося из железных тисков бандита Михаила встали два огромных кирзовых сапога. Подняв от земли голову, Михаил увидел направленное на Сыча дуло винтовки со штыком.

– Не отдам, слышь, мой сюсек, уйди, падло, зныкни! – Голос Сыча сорвался хрипотой. Одной рукой он крепко держал Михаила, а другой пытался дотянуться до кармана сползших до сапог галифе, из которого торчала рукоятка нагана.

– Ты, хлопчик, затулы уши и дывысь у землю. – Сапоги двинулись. Раздался противный звук, словно кто-то распорол мешок. Послышался смертный стон Сыча. Когда Михаил, приподняв голову с земли, оглянулся, Сыч в агонии перебирал голыми ногами, а тот, которого называли Сивым, так и держал его пригвозженным к земле, штык прошел горло и воткнулся в землю. – Ось и всэ, одним злодием мэньше. Вставай, хлопче, треба тикаты, поки та сволота рымыгае. Ты мэнэ нэ бийся, я свий. Воны мзнэ сонного взяли. Не вбылы, так и тягають с собою. – Он не договорил. Раздалась команда: «Руки вверх!»

– Ой, лышенько! А вы ж хто? – оторопело спросил Сивый, так и не решив, то ли штык с винтовкой вытаскивать, то ли руки поднимать. А когда команда повторилась, поднял. – Ось и втиклы, хлопче, тут ще ни кущ, то и кат сыдыть – сказал он словно сам себе, и столько в его до смерти уставших глазах было боли, что подхватившийся с земли Михаил хотел крикнуть: «Не бойтесь! Свои! Партизаны!» Но стоявший рядом не знакомый еще Мише партизан посмотрел строго на Михаила и прижал указательный палец к губам.

– Того на тропе тоже ты? – спросил старший группы у Сивого. Но он молчал. Ему уже успели связать руки и вывернуть карманы. На землю упал маленький комочек тряпки, из которой выкатилась звездочка красноармейца.

– Развяжите ему руки и подыми звезду, – сказал командир.

– Я нэ знаю, хто вы и що вам треба. Кажить прямо, я вас не боюсь, – ответил Сивый и заслонила спиной Михаила.

– Терять тебе уже и бояться нечего. У бандитов тебя ждет смерть, перед народом позор, который смывают кровью, – подытожил командир. – Пойдешь к бандитам, они тебя знают,

и перевяжешь их, как баранов. Если же они не спят от дедова снотворного, скажешь, чтоб сдавались, или закидаем гранатами.

– Вин мэнэ спросэ, хто мэнэ прислав и кому сдаваться?

– Правосудию советской власти.

Когда командир произнес эти слова, Сивый, будто что-то вспомнив, пристально посмотрел ему в лицо.

– Я милиционер Охрымэнко из Уташив. Нашу часть под Анапой разбили, попал в окружение. С малэнькой группой хотили пробиться к Новороссийску, к своим. Тут воны, польцаи, шукають партизан. Воны размовляють по-нашему, я спросоню ны разумил, ще це каты. Уси мои хлопцы втиклы, а менэ повязали. А главарь цих бандюков мий шурин, теж бандюк с Уташив. Так вин менэ с собою и тягае.

– Долго он рассказывает, командир, могут очухаться и расползутся, как змеи, – прервал Сивого высокий плечистый партизан. В его седых волосах запутался желтый листок береста и чуть дрожал, и Михаилу казалось, что в нем все внутри так же дрожит, как тот желтый листок. Враги убили маму и бабушку, захватили и мучают Сашу, до смерти замучили Веру и Асю. Этот Охрименко убил бандита, партизаны убьют его. Много крови, для чего, почему, зачем так много крови? Ему теперь самому захотелось убивать – стрелять, резать, протыкать штыком. Убить коменданта Методия, Матвеева, румынов, немцев, полицаев. Ему казалось, что если смести с земли всю эту неожиданно нахлынувшую нечисть, то все вернутся – и отец, и мама, и бабушка, и Вера с Асей, и братья Витя с Володей, что с отцом на фронте. А дед придет и погрозит, как всегда, указательным пальцем: «Опять шалил, Михай?» Михаил почувствовал, как прошла дрожь в теле и появилась слепящая глаза ярость, которая буквально кинула его туда, где, пригвожденный к земле штыком, застыл Сыч. Со злостью он рванул на себя винтовку, а когда вытащил окровавленный штык, резко развернулся к командиру и предложил:

– Я пойду! Я знаю, где эти гады!

Столько в крике мальчишки было отчаяния и боли, что заходили желваки на скулах командира, и он, низко наклонив голову, чтоб не видеть глаза Миши, сквозь зубы, с растяжкой приказал:

– Охрименко, иди...

Тот было двинулся, но вдруг остановился. Снял с себя защитного цвета ватник, распорол у рукава подкладку и протянул командиру партбилет:

– Мабуть, я загыну, так хай партия знае, шо вже богато катив вбыв.

Он попросил две гранаты, забрал у Сыча наган и ушел. А через полчаса на горе Карачун одним за другим раздались два оглушительных взрыва. Над горой взметнулось грязно-черное облако. Раздались душераздирающие крики, выстрелы – и все смолкло.

– Вот и все! Он был человеком, коммунистом – Охрименко Кузьма Терентьевич, – сказал командир, раскрыв стального цвета книжицу. Тяжело вздохнув, спрятал ее в нагрудный карман кителя и подошел к Михаилу:

– Рано тебе, Миша, брать в руки винтовку, надо сначала познать науку, как с ней воевать. Вот что. С продуктами у нас не очень, так что бери свой самовар и иди добывать харчи. А сестренки твоих мы сами похороним в айвовой роще. – Грустными глазами смотрел он на Михаила, и дед Гуков смотрел, и партизаны, будто хотели оставшееся тепло своей души вложить в этот взгляд. – Как доживем до победы, Миша, памятники поставим тем, кто испил чашу горя до конца, – добавил командир на прощанье...

Продираясь по лесным зарослям высоких горных вершин и ущелий, торопился рассвет. Посеребрил луговые травы вдоль Дюрсинки и синеву крупных горошин терна в подлеске и все ниже опускался прозрачным туманом в румынские окопы. Острым сквознячком дохнул в казематы, прилепившиеся словно ласточкины гнезда на пологих скатах гор, окружив дорогу и село. Потянули на себя шинели спящие вояки. Запутался холодный ветерок в черной, лохматой

бороде спавшего, скорчившись у входа в каземат, часового. Может, Румыния ему снилась, какое-нибудь утопающее в золоте осенних садов село, а может, ароматная слоеная мамалыга, потому что он блаженно улыбался и вытянул сомлевшие ноги, которые уперлись в огромный прокопченный чугунок, стоявший у входа в каземат. Тот, качнувшись, покатился с горы, грохоча и подпрыгивая, набирая скорость. Разбуженный грохотом катившегося чугуна часовой нажал на спусковой крючок карабина. Раздался выстрел. Пуля, рикошетом ударившись о бревно, о стенки каземата, отскочила и впиалась в крупный зад спящего на нарах фельдфебеля. Боль разбудила его, и он, хватаясь за задницу, заорал нечеловеческим голосом:

– Партизаны! Партизаны! Вставайте, мать вашу...

Ударившись о саманную стенку коровника Фроси Персиковой, чугунок остановился. Смолк грохот, но началась беспорядочная стрельба, и по проснувшейся всей линии румынской обороны передавалось из уст растерявшихся вояк слово «партизаны». Словно девятибалльная волна, по всей долине катился переполюх к морю. Все, кто проснулся, стреляли. Куда? В кого? Куда попало. Из окна бывшего сельсовета в нижнем белье выскакивали перепуганные офицеры, хотя никто дверей не запирали, только исчезли куда-то часовые. Спешил и комендант Методий. Денщик спросонья к правой ноге Методия подставлял левый сапог и никак не мог оторвать пробудившегося взгляда от большой деревянной кровати, где из-под одеяла с розовым шелковым чехлом белело соблазнительное круглое девичье колено. Перехватив взгляд денщика, комендант лягнул его босой ногой так, что тот откатился к двери и, вскочив, снова метнулся к комендантским сапогам.

– Пошел вон! – сквозь зубы процедил Методий.

Он быстро обулся, затянул потуже пояс с кобурой и подошел к кровати. Александра спала крепким сном. Пышные волосы цвета золотого ковыля разметались на белоснежной пуховой подушке. Чуть припухшие, зацелованные добела сочные губы вздрагивали, словно она собиралась плакать. Методий наклонился, поцеловал ее в подбородок, туда, где чуть наметилась ямка, и поспешно вышел на крыльцо.

Докладывал помощник коменданта, длинный, худой, с желтым как хна лицом румын. Из доклада явствовало, что на рассвете на каземат фельдфебеля Попеску напало не менее двадцати вооруженных бандитов. В бою он сам был ранен. Среди нападавших насчитывались большие потери, но им удалось унести трупы.

Первый луч солнца соскользнул с лесистой вершины и загорелся в седоватой фельдфебельской бороде. Слезливо блестели уставшие цыганские глаза, от неутраченной боли в заднице за несколько часов осунулось еще не старое, скуластое лицо. Он еле стоял на ногах.

– Значит, бандиты? – спросил Методий, когда смолк последний выстрел и угомонилась вся рать.

– Точно так, комендант. – Фельдфебель резко встрепенулся, подняв руку к виску, но боль перекосила его лицо, и получилась жалкая гримаса.

– Значит, трупы унесли бандиты? – Ядовитая улыбка тронула лицо коменданта.

– Точно так, комендант, – вместе с болью выдавил несчастный победитель.

– Лисичану! – обратился комендант к помощнику, – чтоб этим дуракам не снились партизаны, даю вам два часа на расследование. Выявятся пьяные, расстреляю лично. Жду рапорт с позиций. – Сказал и скрылся за дверью особняка, где досматривала сон Александра.

Тихо звякнуло ведро, и тут же скрипнула дверь. Михаил открыл глаза. Где-то там, под ним, потрескивали в печке дрова. Почувствовав тепло правым боком, понял, что спал на печи. Щекотал ноздри и дразнил голодный желудок запах печеных яблок. Серело в окне и справа, у печки слышались возня и шепот:

– Крути, а я буду подсыпать.

– Нет, дулечку тебе, больно хитрый, ты крути, а я буду подсыпать.

– Я прошлый раз крутил, а ты подсыпала, возьми свою дулечку обратно.

– Не будешь крутить, тресну!

В полумраке Миша разглядел детей. Ей лет восемь, ему поменьше.

– Тише, разбудишь партизана, – втянув в плечи стриженую голову, предупредил сестренку мальчишка, и шепот его переходил в тоненький, мышинный голосок. – Ночью пришел, что-то страшное в мешке принес, слышал я, как они с маманькой гомонили: все партизаны, партизаны... Такой он партизан, как ты Гитлер. Тоже мне партизан...

– Что ты сказала? Повтори! – Началась возня, и они кубарем покатались по полу.

Михаил слез с печи и тут заметил жернова: два круглых камня на одной оси. В центре верхнего камня небольшое отверстие-течка и сбоку деревянная ручка. Возившиеся на полу не заметили, как он слез с печи и, усевшись на пол, стал молотить кукурузу. В дверях, внося в дом свежесть утреннего воздуха, с подойником появилась женщина:

– Как же вам не стыдно, неугомонные? – спросила она не сердито, приятным, спокойным голосом. Гость трудится, а вы деретесь? Я вот сейчас разберусь с вами... – Михаил оглянулся и широко открыл глаза: в дверях стояла женщина... похожая на его мать. Та же каштанового цвета, из оленьей шкуры коротенькая шубка и серый пуховый платок, и голос, и лицо. Ничего не понимая, Михаил перестал крутить колесо. Так и замер. Спазм сдавил горло. Он хотел крикнуть: «Мама!» – и не смог, только неудержимо хлынули слезы, сбегая по щекам, они падали на ноздреватый камень крупорушки.

– Ты чего, миленький, чего? – взволнованно спросила женщина. Поставила на скамейку подойник и подошла к Михаилу. Голос у того прорвался, как паводок через плотину:

– Мама, мамочка! Где ж ты была, мама? Веры нет! Аси нет! Они там, убитые. Мама, мамочка, и Саши нет, у румын она... – Всхлипывая, он встал с пола и, широко открыв глаза, подходил все ближе к женщине. Он терял рассудок:

– Мама, это я, Миша! Ты узнаешь меня, мама?

Женщина поняла, что причиной потрясения явилась эта шубка, которую она вместе с пуховым платком выменяла на отруби месяц назад у двух девушек.

– Успокойся, Миша, и мама придет, и Вера, и Ася. Успокойся. – Но он не слушал ее, будто ее не было в комнате, и никого не было. Безумными глазами он смотрел на оленью шубку, которую женщина растерянно накинула на стул у печки. Подойдя ближе, он потрогал рукав. Глаза его лихорадочно блестели, а лицо как восковая маска застыло в жуткой гримасе:

– Что ж ты молчишь, мама? Я же вижу, как ты плачешь. Мне вот сюда падают твои слезы. – Ладонь левой руки он положил себе на голову, словно пудовую гирию, и от тяжести склонил ее над шубой. – Ты вставай, мама, вставай! Нам нельзя здесь задерживаться. Ждут нас и бабушка, и Вера с Асей. – Застыли, онемели и дети, и их мать, а Михаил направился к двери, босой, рубашонка дыбилась серыми латками на согнутой спине, за рукав он тащил по полу оленью шубку, приговаривая:

– Пойдем, мама, пойдем...

Только на улице женщина смогла его догнать:

– Что ж ты, Миша, ушел и не позавтракал? – спросила она, догоняя его и пытаясь задержать, жестом показывая на дом.

– Нельзя никак нам задерживаться, тетя, нас очень ждут... – Не помнил Михаил, как он попал в крохотную хатенку с низким потолком и чуть заметными стенами. Она делилась на две половинки.

В первой небольшой стол, скамейки. Слева от входной двери – железная, с никелированными спинками кровать, застеленная козьими шкурами, а справа, в более светлом углу, икона Николая Угодника. И везде пучки разных трав, а под крышей крыльца – калина. Крупная сочная калина. Мише казалось, что здесь и не витал дух человека, а был мир цветов и трав. Настой запаха был настолько плотным, что, казалось, не воздух вдыхаешь, а пьешь крепкий настой разнотравья. Весь кошмар, который он перенес, остался в другой половине. Совсем темной,

таинственной. Она с первой половиной соединялась маленькой дверцей. Не сгибаясь, в нее мог войти ребенок не более пяти лет. Если спросить мальчишку, что ему пришлось перенести в той глухой камерке, похожей на баню, он ответит, что видел страшный сон и орал от ужаса, пока совсем не сорвал голос. Трещали дрова в печи. Докрасна накалялись огромные круглые булыжники. Горбатая старушка с курносым пяточком, как у поросенка, плескала на красные камни разные отвары трав, и от этого густел воздух. Метались над лежащим на деревянной полке Михаилом разноцветные сгустки пара. Пар становился все гуще, и все чаще то там, то тут мелькала горбатая фигура с лохматой головой старухи. Пламя прорывалось сквозь сгустки пара, бросало по стенам и потолку страшные тени. Вот звериное обличье Матвеева. Потом чертовое колесо и раздавленная голова бабушки, которая что-то жуткое говорит хриплым, чужим голосом. Потом на Михаила глянули пустые, мертвые стекляшки дедушкиных глаз. Язык его вывалился изо рта, закрывая всю бороду. Рот был открыт так широко и безобразно, что жутко было видеть это, так жутко, что Михаилу казалось – там, под черепом, шевелится змеиный клубок. Змеи копошатся так, как однажды пришлось увидеть их в неглубокой, залитой солнечным светом яме. Тогда зрелище вызывало чувство гадливости и страха, а сейчас разрывающую тело, не унимающуюся боль. Клубок гадюк начал расползаться по вспыхнувшим стенам и потолку. Они ползли по завалу, где покоились сестры, и одна за другой влазили в круглые отверстия с фиолетовыми краями ран, у левой груди Веры и Аси. Потом две гадюки вылезли до половины, так и замерли, как две толстые палки, шипя и шевеля раздвоенными языками. И вдруг одна заговорила голосом Сыча: «Что ж ты, сюсек, не захотел утешить Гришу, теперь Гриша тебя укусит». Змея все ближе и ближе, а Михаил не может шевельнуться. Именно это обстоятельство взвинтило страх до невыносимой жути, и он закричал, кричал до боли в пуповине.

То ли гадюки испугались неистового, раздирающего душу крика, то ли страшного обличья старухи, только вдруг быстро-быстро поползли прочь по стенам и потолку, подгоняемые бормотанием и монотонным движением рук и всего тела старухи. Больше Михаил ничего не помнил...

Разбудил его полуночный шепот. Он открыл глаза, но на печи было темно и жарко. Сквозь тоненькую щель шторок, сквозь окно, заглядывала луна. Шептались двое:

– Мы ждём, а його ныма и ныма, ось пищев... – Такой знакомый голос, а Михаил не может вспомнить, где его слышал. Потом голос женщины:

– Аксинья долго с ним возилась, говорит, что проснется здоровым. Вот он беспробудно спит уже четвертые сутки. Страх меня берет: а вдруг так и не проснется? Аксинья успокоила: «Сердцем чую, выздоровеет».

– Треба вирыть, тут вже ничим ны допомогты. Хай спыть хлопчик, як встане, приду за ним. До побачинья, Клавдия Григорьевна. Послышался шорох, потом скрипнула тихонько дверь. Сквознячок зашевелил шторы на печи, и на миг Миша увидел женщину. На плечи ее была накинута шаль.словно водопад, на темнеющую шаль падали совершенно белые, до самого пояса волосы. Потом шторы сошлись. Дверь закрылась, и опять на печи стало темно и жарко. «Что со мной было?» – спросил он мысленно и пошевелил пальцами рук, словно хотел проверить, действуют они или нет. Затем приподнялся и сел. И вдруг вспомнил: да, он не мог ошибиться, это был голос Сивого. Подвинулся ближе и раздвинул шторы. Женщина так и стояла, задумчиво глядя на закрытую дверь.

– Верните его, пожалуйста! Я узнал его, узнал, узнал! – повторял Михаил, спускаясь с печи, словно это имело очень важное значение, что он узнал голос Сивого. – Он остался живым, там, на горе Карачун.

– Проснулся? Очень хорошо – и что узнал по голосу, еще прекрасней. Значит, все будет хорошо, – произнесла женщина так спокойно и так уверенно, что Мише ничего другого не осталось, как попасть в ее теплые объятия. Она нежно прижала его голову к груди. Сквозь

ткань шали он почувствовал тепло особое, целительное, снимающее напряжение и неловкость. Он, обхватив руками ее тонкую талию, прижался к ней и беззвучно заплакал, не стыдясь своих слез...

Все прозрачнее туман над Черногорьем, и на самой высокой горе со смешным названием Марусин нос загорелось солнце. Село оживало. Скрипнула дверь самой крайней к лесу, и в полуоткрытую дверь выглянула Фрося Персикова. У Фроси полон дом детей, стариков и таких же, как она, женщин. Всех, кого выселили из зоны румынской позиции, загнали в Фросину хатенку. Не случись этого горя, может, Фроси и ее двум ребятишкам хватило бы продуктов до весны, а там крапива, щавель.

Но вышло все иначе. Все, что было, съели. Только ночью затихают дети, и только кое-кто во сне просит есть. А днем многоголосый голодный детский хор доводит до сумасшествия. Вот она и решилась на последний отчаянный шаг. В полуоткрытую дверь выглянула и, убедившись, что вокруг ни души, пошла в коровник. Там, еще вчера спрятанная в загородке от румынского глаза, лакомилась плющом Фросина надежда – коза Нюрка. Войдя в коровник, Фрося долго глядела на верстак, на полки для инструмента, на жирно смазанные дегтем тиски. Будто он – Федор – и не уходил на фронт и вот сейчас выйдет из загородки и спросит с теплой улыбкой, подкручивая черный ус: «Чего изволите приказать, Ефросинья Васильевна?»

– Зарезать последнюю козу, чтоб хоть на мгновение не слышать душераздирающие: «Мама! Кушать...» – словно ему, Федору, ответила Фрося и решительно верхней полки взяла острый нож, которым в лучшие времена Федор колот свиней. Потрогав лезвие, она пошла в загородку, но неожиданно остановилась, как вкопанная. В полутьме на нее стеклянно смотрела Нюрка. Ее рогатая голова с окровавленной бородой и шкурой висела на веревке, привязанной к балке крыши, на полу темнели кишки и маленькие, словно слепые котятка, Нюркины плоды. Преодолевая страх, Фрося подошла ближе, и тут ее ноги подкосила жгучая боль. Она упала на охапку зеленого плюща. В отчаянии молотила кулачком жирные, мягкие листья, будто они были во всем виноваты. Спазмом сдавило грудь и горло, она не могла рыдать, только мычала, как мычат немые, и стонала, как стонала Нюрка, когда были тяжелые окоты. Потом прорвался голос. Долго плакала Фрося. Досталось всем: и Гитлеру, и Антонеску, и всей осатанелой сволочи, что словно чума свалилась на голову, с грабежами, насилием, расстрелами. Среди румынской рати были «вечно голодные». Они как тифозные бродили по селу из хаты в хату, хватая все, что на столе лежит, – горсть кукурузы, ложку мамалыги... Досталось и Федору, что бросил, что ушел и не ведает, как ей тут с детьми приходится: стиснув зубы, молчать и день и ночь думать, чтоб самой не сдохнуть от голода и детей уберечь. Наплакавшись, она немного успокоилась и пожурела себя: «Что ж я, дура ненормальная, упрекаю его – Феденьку. Может, его, кровинушки моей, и в живых давно нет. О Боже». Встав на колени и подняв заплаканные глаза к потолку, она молилась: «Сбереги его, Боже, и помилуй. Возверни с фронта кровавого. Не за себя прошу, Боже. Для детей малых, неповинных. Не дай им помереть, Боже. Верни кормильцев и прогони с земли нашей всю нечисть. Поверни, Боже, лик свой ясный к нам, забытым всеми, брошенным на погибель и бесчестье, Боже!»

Изложив свое горе и просьбы Господу Богу, Фрося встала на ноги, сняла Нюркину голову, развязав петлю, завернула ее в шкуру и пошла из коровника. Когда она вышла, ее внимание привлек огромный чугуун. Положив на землю шкуру с Нюркиной головой, она наклонилась над чугуном и по следам жира на поверхности догадалась, где варилось мясо козы. Но откуда он здесь мог взяться? И мысленно по следу на траве, по прорехе в кустарнике, которую словно плугом пропахали, она провела путь, по которому катился чугуун, и ее глаза зацепились за каземат, который прилепился на небольшой террасе высокой горы.

– Чтоб вы подавились, проклятые! Чтоб ваши кендюхи такими же чугунами повздувались!.. – проклиная, Фрося вскидывала небольшие свои кулачки, а возившиеся на террасе, у входа в каземат румыны делали вид, что не слышат ее и не видят, тогда она на румынском

языке всыпала им пожарче. То ли слова брани их задели, то ли надоело ее слушать, только двое сняли штаны и показали ей худые, волосатые задницы. На этом инцидент был исчерпан. Положив шкуру с головой козы в чугу́н, она пошла в дом.

– Зачем ты, Фрося, зарезала козу? – помогая ей поставить на пол у печки огромный и тяжелый чугу́н, спросила Дарья Журба, молодая женщина. Даже тронутая голодом, ее внешность ласкала взгляд красотой и обаянием.

– Румыны зарезали. Это все, что осталось, – ответила Фрося глуховатым, надорвавшимся голосом. Десяток пар голодных глаз уставились на козью шкуру, а когда она развернулась и на пол упала окровавленная, с блеклыми глазами голова Нюрки, не выдержала и зарыдала восьмилетняя Оксана – дочь Фроси:

– Ой, Нюрочка моя, как же мы без тебя?! Я ж тебя кормила и поила, Нюра! – Девочка подошла и, присев на корточки, худенькой, с синими прожилками рукой гладила густую козью шерсть, и слезы катились по ее щекам. Только теперь и до малого, и до старого дошла крутая волна горя.

– Значит, моя очередь пришла, Фросенька. Стемнеет, пойду в офицерский бардак, – прощедила сквозь зубы Даша. Ее большие, словно черные сливы, на отошавшем лице глаза вспыхнули злостью.

– Ратуйтэ, люды! – взвыла восьмидесятилетняя худая и серая как смерть старуха, свекруха Дарьи Журбы. – Даша, доня, ты дуже щира жинка. Ни вздумай це накойтэ, це дуже важкий грих. Боже тэбэ покорае на цем и на иншем свите. Мы уси повмыраем, але душа вична. Я знайла, шо вы, комсомольцы, приклькаетэ гнів божий. Царя вбылы, церкви порушили, попов поубывалы. Вы порушили виру православну. Вы отрымалы покорання божье. Зараз трэба вытерплюваты тай молыться, чекаты пробачення божьего.

Старуха причитала до самого вечера.

– Так я пойду, Фрося, глядишь не зае... – будто не веря, что она это сможет, сказала Даша. Старуха как будто ополоумела. Упав на пол, вцепилась в Дашины колени и зарыдала, причитая:

– Ты божевильна, ты божевильна...

– Ничего, старуха, не горюй, вернется Василек, и ему останется, – бравировала Даша, но это делалось скорее для самой себя, чтоб как-то преодолеть страх перед таким страшным поступком.

Комендант Мефодий сквозь пальцы смотрел на увеселительные мероприятия и частые попойки офицеров. Лучшие сорта вин были в избытке, приносили солдаты из погребов вин-завода, у озера. Там стояли немцы, но вина хватало всем. А женщин – укажи пальцем, и любую приконвоируют. Еще издавдала Даша слышала музыку, доносившуюся из окон бывшей конторы. Чем ближе она подходила, тем деревяннее становились ноги. У входа часовой – пожилой румын – удивленно посмотрел на Дашу, покачал осуждающе головой, но пропустил. Там, где когда-то проводили собрания, открылся офицерский клуб. Стулья и большой стол для президиума были выброшены, вместо всего этого просторное помещение было меблировано мягкими диванами, небольшими, на две, четыре персоны, столиками с ажурной резьбой на коротких ножках. У самого входа величаво возвышались старинные, из красного дерева серванты, плотно уставленные бутылками. Из бордового бархата, по всей длине помещения, стояли переносные ширмы, и вдоль всего помещения на стенах зеркала, трюмо и в дубовых небольших кадках фикусы и пальмы. Все устроено так, что можно сделать танцевальный зал или с помощью передвижных бархатных ширм устроить интимные кабинеты. Комендантский денщик выводил на скрипке традиционную румынскую «Мруцу». Пары ритмично двигались по кругу, потом музыка прерывалась, одна пара входила в круг, становилась на расстеленный платок на колени и целовалась. Увидев Дашу, денщик вытаращил блудливые черные глаза. Один из офицеров, до этого смаковавший у стойки румынский ром, отставил бокал и поспешил первым перехватить

Дашу. После каждого выпитого бокала и очередного целования на коленях офицеры становились развязнее и наглее. Зашевелились передвижные ширмы. Все больше пар уединились, а скрипка стонала румынские мелодии, да тарасил лихорадочные глаза денщик Методия. Когда Дашу ее напарник после очередного бокала и целования толкнул на диван, в зашторенной кабине она ему сказала, что хочет есть. Он сперва ничего не понял, ошалело уставившись пьяными глазами, а потом, когда дошло до него, воскликнул:

– О, кушать? Не можно!

Румын подбирал нужные слова, но кроме «Давай потом кушать» ничего не придумал.

– Сначала есть, понял? – К переносице сошлись черные крылья бровей, и отрезвляюще на офицера сверкнули ее глаза.

– Хараше, я тебе много дам, много, но ты будешь любить всех, всех! – сказал он строго и поднял кверху указательный палец. Потом повел Дашу в маленькую комнатку, где когда-то стучал отчетами старый бухгалтер Трофимыч. Отомкнув два огромных амбарных замка, он открыл массивную дверь. На полках этой кладовой чего только не было: и сыры, и колбасы, и белый хлеб, и масло сливочное. Глядя на это изобилие, Даша почувствовала, как от голода у нее закружилась голова. Перехватив ее взгляд, он пояснил, что все это его, он хозяин, и, тут же взяв в углу небольшой белый мешок, начал в него кидать то, на что Даша смотрела.

– Хватит? – спросил раздраженно.

– Хватит, – ответила Даша.

– Теперь ты будешь делать все, что я сказать. – Не найдя более убедительного слова, он показал большой палец.

– Хорошо. Давай мешок.

Войдя в зал к танцующим и целующимся, он на румынском языке объявил что-то, и только теперь все офицеры, которые вышли из кабин со своими напарницами, и те, которые еще танцевали, изучающе смотрели на Дашу, и она все поняла...

Ее слюняво целовали, щекотали усами, заставляли шевелиться под очередным производителем. Все вокруг стало омерзительно липким. На ее теле уже не осталось ни одной тряпки, а они все лезли и лезли, и каждый пытался сделать ей больше, и больше, и больше развести этой чавкающей грязи. Когда силы покинули ее, протянулись пять-шесть пар сильных рук и начали шевелить ее по команде попечителя: «Май сус! Май жос!» А тот кобель, что сверху, зажмурив глаза, орал: «Ой шабине Юй шабине!» Нарастала боль ниже живота, она уже была такой, как при родах, а когда она увидела на себе офицера с желтым как хина лицом, где-то под желудком почувствовала невыносимую боль и потеряла сознание. Сколько раз ее отливали водой, Даша не помнила, и то, что с ней делали, тоже не помнила, но каждый раз, когда возвращалось сознание, она плохо видящими глазами –плыли разноцветные круги вокруг – искала белый мешок. Очнувшись в очередной раз, она заметила, что вокруг дивана, на котором она голая лежала, ни одного румына, только испуганные и насмешливые глаза тех, кого под дулами оружия привели сюда утешать господ офицеров.

– Что вытарасили зенки? Или не видали, как воронье на пададь слетается? Найдите мои тряпки и помогите встать! – сказала Даша и рассеяла в их глазах безумное любопытство и животный страх. Когда она на четвереньках выползла из офицерского вертепа, часовой снова покачал головой.

Он, взяв под мышку карабин, помог подняться на ноги. Немного проводив ее, вернулся, а Даша, теряя силы, упорно шла туда, где плакали дети. Был поздний час, но никто не уснул, особенно орали маленькие. Они не понимали того, что война, что надо терпеть. Чтобы выжить, им надо было есть. Нюркину голову с прозрачным бульоном сразу же днем и съели, но голод не утолили, тогда Фрося посмолила Нюркину шкуру и, отварив ее, порезала на мелкие кусочки, получилось что-то типа жвачки, но и она не помогла. Взрослые жевали до тошноты, а малые орали. Вдруг Фрося услышала, как кто-то царапается в дверь. Подойдя, спросила:

– Кто?

Но послышался ответ, похожий на стон. Сердце ее сжалось, она открыла крючок. Дверь распахнулась, и, перешагнув порог непослушными ногами, Даша рухнула на пол, еще больше перепугав орущих детей. Фрося кинулась к ней, пытаясь поднять с пола, но мешал белый мешок, в который намертво вцепилась Даша обеими руками, потеряв сознание. Общими усилиями ее бережно положили на Фросину кровать. Все с любопытством поглядывали на мешок, который все-таки удалось высвободить из Дашиных рук, и он так и остался посередине хаты.

Стоило только Даше прийти в сознание, как за окнами послышались тяжелые шаги.

– Скорее, Фрося, скорее запри двери и тащи сюда мешок, – простонала Даша. – Не успели... – В двери-то увесистым гремел староста Матвеев:

– Именем румынско-немецкого правительства требую немедленно открыть двери, не то перестреляю всех как цуциков.

Фрося растерянно бросила мешок снова на пол и поспешила открыть дверь.

– Где эта лярва? – гаркнул он, войдя в дом вместе с комендантским денщиком.

– Здесь таких нет, – сбросив с себя растерянность смело ответила Фрося. – Поищи их, холуй, в другом месте.

– Молчи, стерва! – И он, на коротеньких ногах подпрыгнув, ткнул кулаком Фросе в лицо. Носом пошла кровь. Она, зажав нос, запрокинула голову, а Матвеев, высыпав содержимое белого мешка, выкрикивал:

– Пять палок копченой колбасы, две головки сыра, пять булок хлеба, три головки сахара, две бутылки шампанского и бутылка рома румынского. Все это было украдено у господ офицеров, проливающих кровь за святой рейх и румынское королевство. Я бы мог на месте, по законам военного времени, расстрелять эту лярву, но знайте, сволочи, мою доброту и подышайте тихо и молча, – тянул он тенорком голодного поросенка, кидая перечисленные продукты в мешок. Когда они выходили, унося мешок, румын ехидно улыбнулся и погрозил длинным и тонким указательным пальцем. Все двадцать человек, и молодых, и старых, застыли, подавленные этой сценой.

– Ну вот, дорогие мои подопечные, тараканы запечные, по усам текло, а в рот не попало. – И она истерическим хохотом захохотала, переходя в рыдание, размазывая на скуластом лице кровь. Плакали, рыдали, орали в двадцать глоток, а Даша чувствовала, что через мгновение сойдет с ума, но в этот момент бесшумно в оставленную открытой дверь с тяжелыми оклунками вошел Михаил. Каждый, кто его увидел, замолкал, и так постепенно воцарилась тишина.

– Что случилось, тетя Фрося? Кто это вас так разукрасил? – спросил он, сбрасывая с плеч тяжелые оклунки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.